12

По многолетней традиции понедельник у начальника медицинской части — чёрный день. С утра начинается обход и врачебный приём осуждённых, содержащихся в ШИЗО и ПКТ. В этом мне обычно помогал санитар по кличке Гоша-Людоед.

На самом деле его зовут Герихан, он ингуш по национальности, осуждённый за разбойное нападение и убийство к пятнадцати годам лишения свободы. Гоша родился в Казахстане, куда его семью сослали в конце войны. Позже родители вернулись на Кавказ, а Гоша работал на шабашках по колхозам, потом сколотил банду и после нескольких вооружённых налётов на сельские магазинчики и сберкассы сел. Мается за колючей проволокой он уже больше десяти лет.

---

* Окончание. Начало в журналах «Гостиный Дворъ» № 2, 3

Своей кличкой обязан внешности: высокий, здоровенный, физиономия зверская, на большой лысой голове торчат в растопырку мясистые, толстые уши.

Гоша бережно несёт мой чемоданчик, в котором хранятся медицинские инструменты, лекарства.

Перед обходом мы поднимаемся на вахту. Сегодня дежурный по колонии — капитан Батов.

— Прэвет, дарагой! — встречает он меня. — В крякушник пойдём?

Потом нажимает кнопку селекторной связи на стоящем перед ним пульте:

— Дядя Ваня! Открывай калитку в ШИЗО, доктор идёт!

Штрафной изолятор и помещения камерного типа отгорожены от основной территории жилзоны забором. В одноэтажном домике, возведённом из монолитного бетона (для крепости), размещалось десять камер ШИЗО и четыре ПКТ.

Камеры штрафного изолятора представляли собой помещение два на четыре метра с бетонными стенами и полами. Запирались они массивными, окованными полосами металла дверями, снабжёнными смотровым глазком и форточкой для подачи пищи — кормушкой. За основной дверью располагалась ещё одна, сваренная из металлических прутьев. Никаких столов, скамеек в камере не полагалось.

Небольшое окошко закрывалось толстой, крепкой решёткой, затем проволочной сеткой и уже снаружи — металлическими жалюзи, практически не пропускающими света. Так что никакого «неба в клеточку» из камеры видно не было.

Утопленная в специальной нише над входной дверью лампочка, тоже закрытая решёткой, не могла разогнать царящий в камере полумрак.

Шершавые, оштукатуренные «под шубу» стены, голый цементный пол, откидные деревянные нары, поднятые и привинченные на день к стене, ржавый зловонный чан в углу с фанерной крышкой — «параша» — вот и вся обстановка камеры изолятора. Курить в ШИЗО запрещалось.

Отбой в десять вечера, подъём в шесть утра. С подъёма нары откидывались к стене и закреплялись специальным штырём. Так что зеку, водворённому в ШИЗО, оставалось либо переминаться с ноги на ногу целый день, либо сидеть в худой одежонке на ледяном цементном полу. Впрочем, если в ШИЗО водворяли с формулировкой «с выводом на работу», то день заключённый проводил в большой «рабочей» камере. Здесь пилили школьные мелки, которые расфасовывались затем по коробкам и отправлялись в учебные заведения по всей стране.

Школьники, естественно, и не догадывались о том, что палочку мела, которым пишет на доске учитель, старательно выпиливал, вытачивал из бесформенной глыбы мела какой-нибудь убийца,

грабитель, к тому же злостный нарушитель режима содержания в ИТУ.

В ПКТ было чуть «покомфортнее». Камеры оборудовались столом, длинной скамьёй, прикреплённой к полу, полы были деревянными, а нары на день не убирались. Впрочем, лежать на них в дневное время было запрещено. Водворённым в ПКТ полагались матрас и одеяло с подушкой. Кроме того, здесь разрешалось иметь кое-какие запасы продуктов питания, купленные в ларьке, письменные принадлежности, сигареты, махорку, спички. Сюда ежедневно доставляли газеты — центральные, областные и колонийскую многотиражку «За честный труд!», прозванную зеками «Сучий вестник».

Такая разница в условиях содержания объяснялась тем, что в ШИЗО водворяли на срок не более пятнадцати суток, а в ПКТ — до шести месяцев. Правда, в случае нарушения режима можно было, уже находясь в ШИЗО, схлопотать дополнительную «пятнашку», а из ПКТ по той же причине не вылезать годами.

Нормы питания для содержащихся в «буре» были занижены, а в ШИЗО и вовсе кормили через раз. В «лётный» день выдавалось четыреста граммов серого хлеба, кружка кипятка и соль «по вкусу».

Но особенно тяжело переносили заключённые в ШИЗО запрет на курение.

При водворении их «шмонали», переодевали в специальную робу, так что не было возможности пронести даже табачные крошки.

Сопровождавший нас прапорщик, орудуя огромным ключом, открыл замок «тюремного типа» в опутанной колючей проволокой калитке, и мы прошли на территорию изолятора. У входа нас встречает контролёр по прозвищу Полтора Ивана. Он пригибается в дверном проёме — низковатом для его двухметрового с гаком роста.

Мы входим внутрь. В нос привычно шибает застоявшийся запах табачного дыма, параши, немытых тел. Дядя Ваня лениво шмонает Гошу — доверяй, но проверяй. Чтоб не передал чего в камеры.

— Стучат? — интересуется Батов.

— Колотят, козлы! — возмущается прапорщик.

Узнаю, в чём дело. Дневальный, приписанный к штрафному изолятору, он же «баландёр» — разносчик пищи, отказался втихаря нелегально передавать «малявы» и «дачки» из жилзоны в камеры «отрицаловки». Хотя такая возможность у него была. В отместку зеки плеснули на него мочой из кормушки, после чего сочли «активиста» «опущенным». И теперь отказывались принимать пищу из рук «петуха».

— Из какой хаты плеснули? — спросил Батов.

— Да из третьей. Там Бес сидит, он и кипишует, — пояснил контролёр.

Дежурный по колонии подошёл к указанной камере, приказал коротко прапорщику — открой!

Тот отпер, с ржавым визгом распахнул тяжёлую дверь, гаркнул зычно:

— Встать!

Арестанты, плохо различимые в сумеречном свете, вяло поднялись с цементного пола, встали вдоль стены — человек пять.

— Что, аборигены, не сидится спокойно? — угрожающе вопросил Батов. — Вы ведь, козлы, не только дневального, а и кормушку в хате своей мочой облили! А жратву через неё получаете. Так что, по понятиям, вы все теперь пидарасы!

— Фильтруй базар, начальник... — подал голос кто-то из обитателей камеры.

— Я тебе, козёл, щас мозги профильтрую! — рявкнул Батов. — Дубинкой резиновой! То же мне, блатной нашёлся... Срал я на таких блатных! Для меня на Мелгоре воров нет. Я для вас здесь главный вор! Короче. Ещё раз стукнет кто в дверь — вместо доктора «чекистов» приведу. Они вам дубинал пропишут!

Угроза Батова не была пустой. В случае массовых неповиновений, беспорядков в зону вводили солдат конвойного батальона, экипированных устрашающе бронежилетами и касками, вооружённых щитами и дубинками. Делалось это не часто, на моей памяти лишь однажды, и расценивалось в те годы как ЧП всесоюзного масштаба. Впрочем, тюремное руководство шло на хитрость. Чтобы не нервировать высокое тюремное начальство в Москве, скрыть собственные упущения в обеспечении должного режима содержания осуждённых, в главк докладывали о «проведении тактических учений внутренних войск по пресечению и ликвидации массовых беспорядков на базе такой-то колонии». А учения — это уже не ЧП. А плановая боевая подготовка конвойных подразделений, за что колонийское руководство не то что ругать, а поощрять впору.

В тот день всё обошлось. Дневального всё-таки сменили, назначив на его место ещё более «отмороженного козла», зеки успокоились, и я начал приём.

Содержалось в ШИЗО и ПКТ обычно человек шестьдесят — семьдесят, к врачу записывалось не менее сорока. При обнаружении серьёзного заболевания врач имел право ходатайствовать перед начальником колонии о переводе осуждённого в санчасть. Вот и шли к доктору на приём все кому не лень. Кто-то, действительно, прибаливал, кто-то «замастырился», надеясь «упасть на крест», кто-то — просто «приколоться с лепилой», разнообразить грустное камерное бытиё или разжиться «кайфовыми» таблетками: кодеином, димедролом, на худой конец — каким-нибудь жаропонижающим аскофеном.

В последнем содержался кофеин, и препарат в какой-то мере мог заменить запрещённый в ШИЗО крепкий чай.

Работать приходилось в тесной комнатушке, где были только заляпанный чернилами с незапамятных времён однотумбовый канцелярский стол и две привинченных к полу табуретки.

Заключённые входили по одному. Контролёры и ДПНК обычно не утруждали себя присутствием и занимались своими делами, а я оставался один на один с осуждёнными. Подстраховывал меня от всяческих неожиданностей только Гоша. С учётом того, что по данным медицинской статистики 80 процентов зеков, содержащихся в местах лишения свободы, имеют отклонения в психике, в основном разного рода психопатии, это было совсем не лишним.

Я не верю в сказки о неприкосновенности медиков в колониях, бывало всякое. Впрочем, за все годы моей службы нападений не случалось. Иногда считавшие себя в чём-то ущемлёнными заключённые скандалили, «брали на горло», доказывая наличие несуществующей болезни, или наоборот, «давили на слезу», однако обычно всё решалось миром. Пару раз за всю мою тюремную практику наиболее нахрапистые и наглые в ухо от меня всё-таки получали.

Вообще, штрафной изолятор был тем гадюшником, где годами копила злобу «отрицаловка», содержались самые агрессивные, опасные заключённые, а потому и контролёров сюда ставили, как правило, из числа опытных прапорщиков, старых служак.

Однако «проколы» в надзоре случались.

Помню, как-то в ШИЗО зеки задушили сокамерника. На прогулки содержащихся в штрафном изоляторе не выводят, пересчитывают утром и вечером «по головам». А потому того, что один из обитателей камеры мёртв, никто не заметил.

Три дня сокамерники перетаскивали труп утром с нар на пол, вечером водружали обратно, лопали его пайку, а дежурный прапорщик при пересчётах в нарушение должностных инструкций не заставлял зеков строиться, не устраивал переклички и не тормошил якобы «спящего». На четвёртый день зеки не выдержали и застучали в дверь камеры.

— Эй, командир! Забери «жмурика»! А то он, в натуре, воняет...

В другой зоне в штрафном изоляторе зеки, убив сокамерника, умудрились на костерке из обрывков робы сварить в чугунном сливном бачке и съесть его печень...

Поэтому заключённых при каждой проверке заставляли выстраиваться вдоль стены в камере, а дежурный контролёр, заглядывая в форточку, считал вслух:

— Один... два... эй, покажись! Ты весь там целый, или только голова на палку надета?

Администрация постоянно ждала от ШИЗО неприятностей. Содержащиеся там частенько объявляли голодовки — групповые и индивидуальные.

При этом шли на ухищрения, чтобы не слишком страдать. Один «голодающий» загодя вымочил белую нательную майку... в сахарном сиропе. И потом посасывал в камере клочки, изображая из себя умирающего голодной смертью.

Иногда, отправляясь в ШИЗО, прятали во рту «мойку» — обломок лезвия бритвы, которым можно было в подходящий момент «покоцаться», «вскрыться», порезав кожу на предплечье или на животе.

Обычно такие раны обрабатывались прямо в изоляторе. Медики накладывали повязку и возвращали членовредителя в камеру. Такие эксцессы никогда не расценивались, как попытка самоубийства, суицид, а лишь как способ оказать психологическое давление на администрацию колонии, добиться своего.

Впрочем, бывало, что резались и серьёзно, так, что выпускали себе кишки. Опять же — не в попытке лишить себя жизни, а чтобы гарантированно оказаться на койке в санчасти.

Таких выводили «на больничку», ушивали рану послойно, а через пару дней возвращали в ШИЗО, добавляя новый срок и не засчитывая время пребывания в санчасти — за членовредительство по тогдашнему законодательству на осуждённого накладывалось дополнительное взыскание.

13

В жизни вольного человека врачи не играют такой главенствующей роли, как в зоне. В колонии медицинская часть оказывается в самом центре событий. Она одинаково важна как для заключённых, так и для администрации.

В силу своего должностного положения колонийские врачи контролируют практически все сферы тюремной жизни: питание, бытовые условия, трудоустройство, производственный процесс. Даже наказание заключённых за нарушения режима вершилось при непосредственном участии медиков, дававших заключения о трудоспособности, возможности водворения в ШИЗО и ПКТ, а также досрочное освобождение из них по состоянию здоровья...

Из-за этого медработник нередко оказывался в двусмысленном положении. С одной стороны, будучи людьми «самой гуманной профессии», они были обязаны всемерно заботиться о здоровье осуждённых. С другой, как офицеры, сотрудники ИТК, должны способствовать процессу исправления и перевоспитания преступников, укреплению режима содержания в местах лишения свободы, выявлению симулянтов, членовредителей, незаконно

уклоняющихся от общественно полезного труда.

По заключению доктора о трудоспособности отказчика от работы водворяли в ШИЗО, наказывая таким образом, по сути, руками медиков.

Неудивительно, что со стороны заключённых врачи не пользовались полным доверием.

Да и тюремные доктора, что там греха таить, с годами теряли квалификацию, делались чёрствыми и равнодушными. И обидные клички «на фене» — «лепила», «коновал», в отношении их часто, увы, оказывались справедливыми.

Может быть, поэтому колонийские врачи даже внешне отличаются от своих «вольных» коллег. Приходя в зону этакими жизнерадостно-добрыми «айболитами», выходят на пенсию угрюмыми, равнодушными ко всему циниками.

Ещё одна особенность зоновской медицины заключается в наблюдении, которым поделился со мной старый тюремный доктор:

— Если зек хочет жить — его ломом проткни — не убьёшь. А если помереть решит — ничем не вылечишь!

И действительно, я видел, как почти без следа затягивались жуткие раны, срастались переломы. Которые «вольного» человека неминуемо привели бы к инвалидности. Но видел и заключённых, которые вдруг начинали угасать и умирали, несмотря на интенсивное лечение. При этом даже патологоанатом бывал в растерянности: какую причину смерти вписать в диагноз?

Как-то утром на вахту поднялся зек — из «блатных». И обратился к ДПНК:

— Мне бы, гражданин начальник, доктору показаться...

— Чего это тебе приспичило? — недовольно поинтересовался дежурный по колонии.

— Да вот... Вытащить надо...

Зек повернулся спиной. Под левой лопаткой у него торчала деревянная рукоятка. Кто-то всадил в него заточенный сварочный электрод, проткнув насквозь — так, что на груди, возле левого соска, остриё показалось.

С таким ранением он разгуливал по зоне, потом доехал с конвоем до ЦРБ, где этот электрод из него извлекли хирурги. А ещё через пару недель вернулся как ни в чём не бывало в отряд.

В колонии ежегодно умирало в среднем пять-шесть человек. Случались убийства, самоубийства. Одного заключённого застрелил часовой на вышке — спросонок стал вдруг палить из автомата длинными очередями по жилой зоне. И уложил наповал шальной пулей выскочившего полюбопытствовать на стрельбу дневального.

Но чаще всего гибли от производственных травм.

Забота об умерших и погибших ложилась на медицинскую часть и начальника отряда.

Все скончавшиеся в колонии в обязательном порядке направлялись на судебно-медицинское вскрытие. Судмедэксперт, работавший в соседнем районе, никак не зависел от тюремного ведомства, так что его заключения носили объективный характер.

По каждому факту смерти проводилась прокурорская проверка. А потому скрыть что-либо, втихаря «списать» погибшего администрация не имела возможности.

Впрочем, как рассказывали мне коллеги, были столь удалённые, «лесные» лагеря, где никаких судмедэкспертов за сотни вёрст вокруг не было. Там умудрялись «списывать» как погибших от заболевания, например, пневмонии, даже зеков, распиленных на куски корешами за какую-то провинность на пилораме...

Умершего в зоне санитары на носилках несли к вахте и клали у входа. Выходил начкар конвойных войск, обычно молоденький лейтенант, пугливо взирал на тело, а потом, чтобы продемонстрировать свою «крутость», обязательно трогал покойника носком сапога, с сомнением вопрошая у сопровождающего доктора:

— Он чо, точно крякнул? А то убежит ещё...

Выслушав заверения медика, что «крякнул» зек точно, наверняка, начкар давал команду часовому открыть двери вахты, и со стороны воли носилки принимали уже бесконвойники.

С шутками и прибаутками — чужая смерть в зоне обычно не вызывала ни уважения, ни сочувствия — покойника отвозили на пожарку и запирали в сарай, где хранился негодный инвентарь и прочий хлам. После чего отрядник начинал хлопотать, заказывая в столярке гроб, выписывая на складе новое бельё и робу, оповещая родственников покойного.

Сопровождать труп на судебно-медицинскую экспертизу, которую проводили в соседнем Соль-Илецком районе, поручали обычно мне. Выделяли грузовой автомобиль, почему-то всегда с одним и тем же придурковатым, предпенсионного возраста шофёром, который до дрожи боялся покойников.

Тело клали в гроб, сбитый из наскоро обструганных сырых досок и оттого неподъёмный, затаскивали в кузов, и мы трогались. Водитель с застывшим от ужаса лицом гнал машину, рискуя вместо одного покойника доставить трёх. Обычно на въезде в Соль-Илецк нас останавливал постовой ГАИ, но, взглянув в кузов, махал рукой: езжайте скорее от греха...

В морге всем заправлял верзила-санитар, татарин, из бывших зеков, вечно пьяный и по отношению к «ментам» особенно наглый.

— Привёз? — всякий раз недовольно вопрошал он, радуясь возможности покуражиться над зоновским «лепилой». — А на хрена мне ваш «жмурик»? Вон их

сколько, штабелями лежат, воняют уже. Сегодня вскрывать не будем... Ну ладно, волоки его вон туда, на стол, пусть до завтра лежит — не протухнет...

Сделать его сговорчивее позволяла только бутылка чистого медицинского спирта. Увидав её, санитар мигом преображался. Начинал улыбаться приветливо, торопливо хватал стоящий на столике среди перепачканных кровью анатомических инструментов мутный, заляпанный бурыми пятнами трупной крови стакан, наливал половину, великодушно предлагая мне:

— Будешь? Ну-ну, как хочешь... — и выпивал, не закусывая.

Потом энергично потирал руки:

— Ну, где там наш братан? Пошли, командир, помогу дотащить...

Водитель отрешённо бродил в отдалении в прибольничном садике, засаженном чахлыми, изломанными суховеями карагачами и кустами акации, и мы вдвоём с санитаром, кряхтя от натуги, стаскивали тяжеленный гроб с кузова, и, матерясь сквозь зубы, волокли в морг.

— Одёжку привёз? — интересовался заботливо подобревший от спирта санитар, — давай! После вскрытия обмою, переодену братана в новый прикид. Будет выглядеть как огурчик!

В те годы существовал приказ МВД, запрещающий выдавать тела умерших заключённых родственникам.

Бригада бесконвойников на райцентровском кладбище рыла могилу и в присутствии начальника отряда предавала грешные останки земле. После этого отрядный обычно крепко выпивал, помянув покойного, а бесконвойники в это время разбредались по кладбищу, созерцая могилки, размышляя о бренности всего сущего. А заодно прихватывая оставленные по русскому обычаю на скорбных холмиках немудрёные угощения — конфеты, печенье... И, колупая в кузове на обратном пути варёные вкрутую трофейные яйца, бормотали со вздохом: «Вот и освободился кореш...»

14

Удивительно, но особенно трепетно к своему здоровью относились осуждённые за самые жестокие, садистские преступления.

Помню, как намучились доктора и медсёстры с заключённым, на чьей совести было три человеческих жизни. Будучи шестнадцатилетним, он убил обрезком трубы двух стариков, попытавшихся выпроводить его с дачного участка, куда юноша забрёл пьяным. Суд приговорил его к максимальному сроку наказания, существовавшему в те годы для несовершеннолетних убийц, — десяти годам лишения свободы. Оказавшись на «малолетке», он задушил сокамерника, завернул в одеяло и сжёг. Ему добавили ещё год или два — до тех же десяти.

С этим сроком он и пришёл во «взрослую» колонию на Мелгору. И стал завсегдатаем санчасти. Предъявлял массу жалоб на состояние здоровья, жаловался во все мыслимые инстанции на недостаточное, по его мнению, оказание ему медицинской помощи, при этом падал в обморок при одном виде шприца.

Другой заключённый ежедневно скрупулёзно записывал в специальную, замызганную от долгого употребления «общую» тетрадь своё состояние — пульс, артериальное давление, температуру тела. Туда же он заносил все прегрешения администрации: такого-то числа в столовой ему выдали прокисшее молоко, в порции мяса оказалась косточка, медсестра на пятнадцать минут позже выдала назначенное лекарство...

На основании своих записей он составлял длиннейшие, написанные бисерным, аккуратным почерком жалобы, рассылая их в медицинский отдел областного УВД, прокурору по надзору за ИТУ, в партийные органы, народным депутатам...

Пятнадцатилетний срок лишения свободы он получил за то, что ограбил, изнасиловал и задушил родную бабушку...

Другого жалобщика я запомнил особенно хорошо, потому что схлопотал за него выговор. Фамилия его была Каров. Свои тринадцать лет усиленного режима он получил за изнасилование падчерицы, которая училась в первом классе. На следствии Каров, не моргнув глазом, предъявил в своё оправдание некую «расписку». В ней детским почерком только что научившегося писать ребёнка сообщалось, что она «вступает в половые отношения добровольно».

Каров тоже любил лечиться, ежедневно отираясь в коридорах санчасти.

Как-то раз я застал этого сорокалетнего заскорузлого мужичонку за подглядыванием. В процедурной, присев на корточки, он пытался заглянуть под халат медсестры, которая нагнулась в этот момент, раскладывая лекарства. Изо рта его текла струйка слюны...

Каюсь, не выдержал. И в формулировке приказа о наложении мне дисциплинарного взыскания значилось: «за допущенное рукоприкладство»...

Но встречались среди жалобщиков и чудаки, этакие зоновские бессребреники, «адвокаты преступного мира». На Мелгоре к этой категории относился татарин по имени Хайрулла.

Срок он отбывал за изнасилование, но история там была тёмная. Сам Хайрулла утверждал, что «посадили» его, припаяв уголовную статью, за правозащитную деятельность в Казани. Напомню, что случилось это ещё в конце 70-х годов. Тщедушного Хайруллу обвинили в изнасиловании одновременно... двух женщин. До этого они втроём пили водку в какой-то гостинице, и,

ознакомившись из любопытства с его уголовным делом, я, честно говоря, так и не понял, кто кого изнасиловал...

Тем не менее, Хайруллу осудили на девять лет усиленного режима, семь из которых к моменту нашего знакомства он уже отсидел.

Это был невероятно энергичный, хлопотливый зек.

Карманы его широченных, длинных не по росту, отродясь не глаженых мелискиновых штанов пузырились от толстых пачек замусоленных газетных и журнальных вырезок с какими-то разоблачающими, по мнению Хайруллы, советскую власть статьями, письмами, отпечатанными на официальных бланках ответами на его обращения и жалобы в самые высокие инстанции, вплоть до ЦК КПСС и Верховного Совета СССР.

Почти ежедневно он входил ко мне в кабинет и торжествующе клал на стол очередную вырезку из газеты. Все они касались каких-то нарушений, допущенных представителями органов государственной власти. А поскольку о подобных вещах в начале восьмидесятых годов писали не часто, Хайрулла выписывал в зону невероятное количество центральных газет и журналов. Наиболее вопиющие факты он старательно подчёркивал красным карандашом, обводил в рамочку, и, тыча грязным пальцем в печатные строчки, вещал:

— А вот ещё прочтите, гражданин доктор, что ваши коммунисты вытворяют!

И хотя я никогда не был коммунистом, Хайрулла клеймил меня как пособника «преступного режима», восклицая с пафосом:

— Как вы, человек гуманной профессии, врач, можете служить этой власти?!

Впрочем, безнадёжным «пособником режима» меня Хайрулла, по-видимому, не считал, а потому и старался, как говорили тогда, «распропагандировать».

Но известен стал высокому тюремному начальству далеко за пределами Мелгоры Хайрулла не поэтому. Свои обвинения в адрес администрации колонии, руководителей МВД и Советского Союза он фиксировал в виде татуировок на теле. «Раб КПСС» тогда накалывали себе на видимых частях тела многие уркаганы. Но Хайрулла пошёл дальше. На лбу его вкривь и вкось красовалась татуированная надпись «Медведь — убийца». Из-за оригинальности фамилии «хозяина» зоны это обвиняющее утверждение смахивало на подпись под клеткой грозного животного в зоопарке. А при тщедушности Хайруллы выглядело и вовсе комично.

На груди Хайруллы было вытатуировано «письмо председателю КГБ СССР Ю.В. Андропову». С текстом, разоблачающим происки оренбургских тюремщиков. На спине, плечах, руках и ногах, занимая всё свободное место, густо теснились наколотые

фамилии ответственных работников УВД и МВД с краткими комментариями, вроде: «преступник», «фашист», «душитель свободы».

Кстати, по существующим в те годы инструкциям, татуировки на теле осуждённых, носящие «нецензурный, антисоветский или оскорбительный характер» подлежали принудительному удалению. После того, как Хайрулла добавил к своему списку фамилию начальника УИТУ (управления исправительно-трудовых учреждений) с определением «пособник Берии», его отправили в тюремную больницу. Однако, как рассказывали мне позднее, удалять татуировки из-за их многочисленности не стали. А перевели Хайруллу в психбольницу тюремного типа. Где он, судя по всему, и сгинул навечно.

Ибо, останься Хайрулла жив, то наверняка принял бы в грянувшей вскоре перестройке самое активное участие. При его энергии, расписанной внешности, он непременно бы частенько попадал в объективы телекамер. А может быть, и в политические деятели, депутаты какие-нибудь на популярной в те годы критике КПСС пробился. Но я, увы, о нём ни разу не слышал. Значит, не дожил до своего звёздного часа...

15

Сроки лишения свободы у большинства заключённых на Мелгоре были огромные — десять, пятнадцать лет лишения свободы. Приговоры в три, четыре года считались тогда среди зеков смехотворными. Впрочем, советская власть вообще была щедра на жёсткие приговоры. Вот картинка с натуры тех лет.

Начало 80-х, Соль-Илецк, колония особого режима (теперь это известный на всю Россию «Чёрный дельфин»). По продолу ходит невероятно длинный, за два метра, и страшно худой зек-«полосатик». В руках у него буханка хлеба — «кирпичик», он откусывает от неё на ходу. Половину уже съел. На табурете сидит старый прапорщик. Маленький, но с роскошными «будёновскими» усами, закрученными вверх. Говорит хрипло зеку:

— Задолбал ты, чего маячишь?!

— Да, дядь Вась, три Петра отсидел, пятнадцать лет от звонка до звонка, освобождаюсь сегодня... Рамсы попутались!

— Подумаешь, пятнашка... У нас давеча басмач помер, с тридцатых годов не выходил. А ты — три Петра... Да такой срок на одной ноге простоять можно!

Само преступление поминалось осуждённым только однажды — при распределении этапа. Больше администрация к вопросу «за что сидишь?» не возвращалась. В практическом плане суть преступления, статья УК, по которой осуждался тот или иной заключённый, не имела большого значения. Смертельно опасным в зоне мог оказаться валютный

спекулянт с высшим образованием, а бандит, вроде упомянутого Гоши-Людоеда, — надёжным помощником администрации. Конечно, в той мере, в которой можно доверять любому осуждённому.

Помню, в разгар «перестройки», когда по зонам начал витать дух «гуманизации наказания», пошли волной забастовки, массовые голодовки и захваты заложников. Несколько «авторитетов» решили «разморозить сучью зону» — Мелгору. Для этой цели подыскали «торпеду» — готового на всё дебиловатого цыгана, осуждённого всего-то на три года лишения свободы за торговлю палёной водкой. Ему вручили заточенный электрод, которым он должен был завалить любого сотрудника. После этого, по задумке «авторитетов», в зоне должны были начаться массовые беспорядки.

Олигофрен, недолго думая, заявился с этим электродом в санчасть. Жертвой мог стать кто-то из врачей, медсестёр. Однако «торпеду» вычислил и нейтрализовал Гоша, отобрав заточку и накостыляв цыгану по шее. Об этом инциденте мне рассказали оперативники, посоветовав «быть осторожнее». Сам Гоша о том, за что набил морду цыгану и едва не угодил в ШИЗО, слова не проронил.

Что касается приговоров, которые администрация редко принимала во внимание, строя взаимоотношения с тем или иным осуждённым, то была в этом доля вины и нашего судопроизводства. В те годы в зоны косяком шла молодёжь, получившая приличные сроки за «изнасилование» по обоюдному согласию, часто попадались колхозники, укравшие мешок комбикорма.

Помню, я как-то разговорился с только что пришедшим этапом в зону добродушным стариком-заключённым. Деду было за семьдесят, а статья, указанная на медицинской карточке, свидетельствовала, что осуждён он... за разбой. Срок — десять лет лишения свободы.

Вытирая трясущимися руками старческие слёзы, «разбойник» поведал мне историю своего преступления.

Работал он колхозным сторожем, охранял с ржавой берданкой ток. Хранилось зерно вблизи воинской части. Ночью к старику подъехал на мотоцикле с коляской зять, и они насыпали полную люльку зерна. Дело в колхозе обычное — кормов для личного подворья крестьянам всегда не хватало.

Кражу заметил солдат-часовой на вышке у забора рядом расположенной воинской части. Проявив бдительность и комсомольскую принципиальность, он по телефону сообщил о противоправных действиях расхитителей социалистической собственности начальнику караула.

Примчался молодой лейтенант с нарядом — все при оружии. Собака-дворняжка сторожа

вцепилась «чужому» в сапог. Лейтенант бабахнул в неё из пистолета, убил. Дед тоже с перепугу схватился за берданку, пальнул в воздух...

В итоге ему пришили вооружённый грабёж государственного имущества и осудили, как говорится, на всю катушку.

В середине восьмидесятых в зону стали приходить отголоски андроповского правления — работники торговли, общепита, хозяйственные руководители. Общественность тех лет приветствовала крутые меры борьбы с расхитителями социалистической собственности. По телевидению прошла череда сюжетов, рассказывающих о разоблачении, аресте и осуждении целого ряда крупных руководителей Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья. Был среди них и репортаж из камеры смертников, где содержался приговорённый к высшей мере наказания за хищения в особо крупных размерах директор мясного магазина по фамилии Гуркин.

А ещё через несколько дней старый, хорошо за семьдесят, еврей Гуркин стоял на распределении этапа в нашей колонии. Оказывается, его помиловали, как участника Великой Отечественной войны, орденоносца, и заменили расстрел на пятнадцать лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В личном деле осуждённого была подшита наложенная кем-то из высоких тюремных чинов резолюция: «В связи с исключительной опасностью совершённого преступления направить для отбывания наказания в одну из отдалённых колоний Российской Федерации...» Так особо опасный Гуркин оказался на Мелгоре.

Удивлял необычайно огромный по тем временам денежный иск, который «честным трудом» в местах лишения свободы должен был погашать заключённый — миллион двести тысяч рублей.

Я уже упоминал, что, попав в колонию, лица, достигшие пенсионного возраста, всё равно обязаны были трудиться. Впрочем, Гуркин и не собирался отлынивать. Будучи по зоновским меркам глубоким стариком — под семьдесят лет, он категорически отказался идти в «инвалидный» отряд, куда собирали всех нетрудоспособных и стариков.

— Без дела я с ума тут сойду, гражданин начальник! — заявил он Медведю на распределении этапа.

— Хорошо, — согласился «хозяин». — Посоветуемся с доктором, подыщем вам занятия по силам.

К вечеру того же дня Гуркин появился в моём кабинете в медчасти. Вежливо поздоровался, теребя в руках кепку, кивнув благодарно, присел на предложенный стул — деликатно, на краешек.

— Мы, Александр Геннадьевич (узнал уже имя-отчество, обратился не по-уставному, но в отношении докторов это дозволялось), донские казаки — народ

благодарный. Сегодня вы мне поможете, а завтра, глядишь, и я пригожусь. У меня сын в Москве в больших чинах, связи на самом верху имеет. Не вечно же вам в этой дыре служить! Могу похлопотать о переводе — куда-нибудь на юг, ближе к морю...

— Мы, дорогой станишник Гуркин, свой Урал любим, — ответил я старику в его же манере. — И никакие моря нам не нужны. Давайте лучше вместе подумаем, чем вас в зоне занять. Что вы умеете?

— Всё! — с гордостью привстал Гуркин. — Я умею главное — руководить людьми! А люди у нас в стране, я вам скажу, золотые! Если их организовать, правильно настроить, то они даже здесь, в неволе, способны выполнить любые задачи!

— Вот и возьмитесь за банно-прачечный комплекс, — предложил я. — У нас там вечные проблемы. Бельё плохо отстирывают, не проглаживают, в душевых половина кранов не работают, грязно. Дезкамера постоянно барахлит... Только вот не уверен, что вы сможете сорганизовать наших парней...

— Смогу! — убеждённо заявил Гуркин. — Сделаю банно-прачечный блок образцовым. Комиссии будете туда водить и показывать с гордостью!

И, между прочим, действительно, смог!

Вначале он, нацепив очки и шевеля губами, внимательно прочёл, примостившись у меня в кабинете, все эмвэдэшные и санитарные инструкции, справочники по постановке банно-прачечного дела в местах лишения свободы. Кое-что выписал себе в блокнот. Потом, подобрав среди заключённых специалистов, отремонтировал с их помощью стиральные машины, утюги. Нашёл парикмахера — бывшего дамского мастера из азербайджанцев, который умудрялся стричь наголо так, что лысина выглядела модельной причёской.

Короткое время спустя баня и прачечная превратились в чистенькое, хорошо отлаженное хозяйство. Сам Гуркин попивал чаёк в уютном кабинете, переоборудованном здесь же из захламлённой прежде «бендюжки», с табличкой золочёными буквами по стеклу на двери: «Заведующий банно-прачечным комплексом». Вот что значит — прирождённый руководитель!

Периодически он появлялся в санчасти. Быстренько просчитав, с кем имеет дело, с «гнилыми подходами» ко мне больше не обращался. Но всегда старался подчеркнуть, что добро помнит.

— Там, Александр Геннадьевич, ваши дневальные постельное бельё и пижамочки из стационара в прачечную принесли. Так я распорядился, мои хлопцы кое-где подштопали, починили. Да вот и шторки в вашем кабинете... невзрачные какие-то, блёклые. У меня в заначке новые есть, тюлевые. Шикарные, я вам скажу, шторки! Дам команду,

чтоб поменяли... да, и просьбочка будет к вам. Я тут списочек составил моих подчинённых. Вы уж походатайствуйте перед «хозяином» об их поощрении. Ну, там посылочка внеочередная, свиданьице... Я там, в списочке-то, пометил, кому, что... Ребята хорошо работают, отметить бы надо!

Вообще, массовый приход в зону «хозяйственников», как звали осуждённых за экономические преступления — взяточников, расхитителей социалистической собственности, оказался на благо колонии. Сноровистые, ухватистые, толковые мужики с огромными сроками наказания, ставили перед собой одну цель — освободиться как можно быстрее, досрочно.

Тем более, что «хозяйственные» статьи были льготными. По отбытии одной трети срока наказания при примерном поведении можно было выйти из зоны «на химию», где какая-никакая, а всё же свобода. По отбытию двух третей срока — освободиться и вовсе условно-досрочно.

Например, подсобным хозяйством Мелгоры заведовал бывший директор общепита города Сочи Другов. В свои пятьдесят лет он умел, кажется, всё. Начинал водителем самосвала на кирпичном заводе. Потом вышел на «бесконвойку», попал на подхоз. Здесь управлял трактором, пахал обширный колонийский огород, запрягал лошадей, лечил коров, прививал поросят и умел делать ещё много необходимых в крестьянском хозяйстве дел, обладая обширными познаниями, странными для «подпольного миллионера», сочинского взяточника советской поры. Кроме того, Другов построил на подхозе теплицу, в которую зимой за свежими огурцами и помидорами приезжали посланцы всех руководителей УВД области.

Я как-то поинтересовался у него, где он сумел приобрести все эти необычные для горожанина навыки.

— Вы знаете, Александр Геннадьевич, — доверительно сообщил Другов, — до войны мой отец был первым секретарём одной из национальных республик. Так вот, он не хотел, чтобы сын его оставался баловнем. С десяти лет я уже рулил его служебной машиной. С двенадцати — на тракторе. Каждое лето на каникулы — не в Артек, а к бабке в деревню, работать в колхозе. На поле, на ферме... Отца перед войной репрессировали. Вот и мне эти навыки на старости лет вдруг пригодились...

Я читал в личном деле Другова, что при обыске у него в кладовой изъяли целый таз (подобный тем, в которых для стирки хозяйки замачивают бельё), наполненный золотыми украшениями — кольцами, перстнями, цепочками. Несколько килограммов ювелирного золота. На вопрос следователей, почему ценности хранились в таком неподобающем месте, ответил искренне:

— Да это всё подарки... А куда мне их было девать? Я ж это всё на себя не одену! Сплошная безвкусица...

Как-то Другов прибежал ко мне домой в выходной день. Объяснил взволнованно, что его завтра освобождают условно-досрочно. Чтобы оформить все документы пораньше, нужна была моя подпись на справке, что он ничего не остаётся должен медчасти.

Был день 1 мая. Мы отмечали праздник скромно, по-семейному. Жена, тёща, сын — детсадовского возраста. На столе — нехитрое угощение на фоне тотального продовольственного дефицита в стране: тушёная картошка с мясом, винегрет. Дело было в 1988 году, во времена жесточайшего «сухого закона». По этой причине середину стола украшал графинчик с чистым медицинским спиртом.

Я пригласил Другова к столу, налил ему стопочку. Он едва не прослезился, сказав прочувственно:

— Приходилось мне сидеть за роскошными банкетными столами, пить самые изысканные вина и коньяки. Всё забылось, стёрлось из памяти. Но вот этот винегрет, эту рюмку неразбавленного спирта я буду с благодарностью помнить всю жизнь!

Долгое время не удавалось навести порядок в столовой жилзоны. Вольнонаёмная заведующая вконец проворовалась. Однажды оперативники по «наколке» зеков хлопнули её, как говорится, с поличным. Запершись от них в туалете, дама попыталась запихнуть в унитаз несколько килограммов «сэкономленного» ею на зековских порциях сливочного масла.

Другой вольнонаёмный завстоловой сам не брал ничего, но позволял растаскивать пищу кому попало. Целый день из столовой в отряды шныряли гонцы, неся миски, бачки с мясом, жареной картошкой и прочими тюремными деликатесами для активистов и блатных.

Один повар из числа заключённых, умыкнувший несколько пачек чая, который должен был «запарить» на завтрак в общем котле, решил спрятать их в ящике электрощита. И коснулся лысой головой оголённых контактов. От удара током бедолага умер мгновенно, щедро присыпанный чёрными чаинками из разорванных в конвульсиях пачек...

Порядок в столовой навёл осуждённый к четырнадцати годам лишения свободы бывший генеральный директор треста столовых и ресторанов Краснодарского края Шведенко.

Молодой, лет тридцати пяти, холёный, умудрявшийся выглядеть вальяжно даже в зековской робе, впрочем, с иголочки новой, тщательно отутюженной, Шведенко как-то незаметно отвадил от котла всех — и активистов, и блатных. А вскоре заверещали недовольно и вольнонаёмные вороватые складские бабёнки. Знающий своё дело зек

категорически отказывался принимать в столовую залежавшиеся, подпорченные продукты, которые за бесценок скупала где-то и норовила скормить зекам интендантская служба. В этом вопросе, к слову, он обрёл в моём лице, как начальника медчасти, надёжного союзника.

В конце восьмидесятых годов все «хозяйственники» попали под амнистию и с полученным в зоне опытом, знанием блатного мира наверняка хорошо вписались в как раз только набиравшую обороты «рыночную» экономику...

А вот Гуркин не дожил до амнистии несколько месяцев. Сын его и впрямь ходил в высоких столичных чинах. Приехав к отцу на свидание, он накормил его деликатесами, в том числе копчёной колбасой. У старика случился приступ панкреатита. Спасти в районной больнице Гуркина не смогли. Связей сына хватило даже на то, что вопреки существовавшему в те годы законодательству, ему выдали тело умершего отца-заключённого с тем, чтобы он смог похоронить его на кладбище в родном городе.

Другов, как мне рассказывали, скончался от инфаркта через год после освобождения.

16

Однажды на вахте Медведь с раздражением наблюдал за возней четверых сотрудников, пытавшихся надеть наручники на разбушевавшегося пьяного зека. Здоровенного парня били под дых, крутили руки, но тот всякий раз стряхивал с себя и разбрасывал дежурный наряд. Наконец один из прапорщиков направил в лицо пьяного струю «черёмухи». Но тот только вращал бешено налитыми кровью глазами и скалил фиксатые зубы.

Зато вся дежурка мгновенно наполнилась режущей глаза вонью, и сотрудники, бросив хохочущего мстительно зека, опрометью бросились вон.

Медведь, взяв за воротник буяна, выволок из комнаты в коридор, и совсем не по инструкции отправил своим пудовым кулачищем в глубокий нокаут. А потом, оглядев утирающих слёзы офицеров, приказал в сердцах:

— Чтобы завтра, мать вашу, все были на спортподготовке. Позор! Толпой с одним зеком справиться не можете!

Впрочем, ничего путного из этой затеи не вышло. Несколько вечеров колонийские офицеры собирались в наскоро оборудованной под спортзал комнате и, помахав для вида руками, брались за кий и гоняли шары на стоящем здесь же биллиардном столе. Потом откуда-то появлялась бутылка водки, затем другая...

На этом спортивные занятия кончались.

Весной и осенью в колонию из УВД приезжали подтянутые, щеголеватые проверяющие. Колонийские офицеры заторможено,

будто на замедленной съёмке, демонстрировали им знание приёмов самбо. Потом, хрипло дыша, вялой трусцой преодолевали километровую дистанцию. Болтались, пытаясь подтянуться, на турнике — показывали, как «мясо на базаре висит». В завершение «проверки» бабахали в меловом карьере из взятых напрокат в конвойном батальоне пистолетов — личного огнестрельного оружия сотрудникам колонии иметь в те годы не полагалось.

Проверяющие, презрительно кривясь, рисовали в своих журналах двойки и тройки, после чего убывали, а в колонии о физподготовке никто не вспоминал до следующего года.

Меня от всеобщего позора спасала медицинская сумка и ртутный тонометр с фонендоскопом. Поскольку при сдаче спортивных нормативов должен был непременно присутствовать врач (мало ли что, вдруг кого-то из сорокалетних «спортсменов» кондрашка хватит?), я и присутствовал. Садился с важным видом, изображая в случае необходимости готовность бороться за чью-то жизнь, и таким образом в сдаче физнормативов не участвовал. По итогам проверяющие ставили мне по всем упражнениям «удовлетворительно», с чем я легко соглашался.

Впрочем, напряжённая колонийская служба не оставляла времени на такие «глупости», как спорт. Бесконечные дежурства, наряды, «усиления», тревоги, изматывали так, что в пору до дома бы дотащиться. А там многих сотрудников ждали огороды, скотина и птица в сараях...

Однажды на одном из «коммунистических субботников» молодые сотрудники затеяли шутливую борьбу. Распалившийся Колька Мамбетов принялся демонстрировать окружающим приёмы популярного в те годы каратэ, предложил даже побороться с ним начальнику колонии, здоровяку Медведю. Тот только хмыкнул добродушно, но Колькиных выпендрёжев не забыл. И вскоре на очередном собрании личного состава объявил громогласно:

— Тут нам из УВД разнарядка пришла — направить одного сотрудника на первенство управления по борьбе самбо. Мы посоветовались... и решили откомандировать на соревнования самого достойного — капитана Мамбетова!

Колька уехал на соревнования — и пропал. Прошла неделя. Встревоженный Медведь поручил мне выяснить, в чём дело. Я пошёл навестить Мамбетова дома, благо жил он здесь же, в посёлке у Мелгоры. Во дворе меня встретил Колькин отец — старый казах.

— Здрасьте, дедушка! Что-то Николая на службе нет. Начальник велел узнать: может, случилось что? — поинтересовался я.

— Ой-ой, — запричитал дед, — балной Колька, совсем балной!

— Что с ним?

— Ой, Колка — дурак! На соревнованиях боролся. Теперь двери зубами открывает...

Оказалось, что капитан Мамбетов пал жертвой своего гонора. Прибыв на соревнования, большинство участников которых составляли такие же, как он, колонийские неумехи, Колька выкатил грудь колесом и, поигрывая бицепсами, усиленно изображал из себя опытного борца. На том и попался. Организаторы состязаний приняли его за серьёзного спортсмена и в первой же схватке свели с настоящим самбистом, каким-то там мастером международного класса. Тот, введённый в заблуждение самоуверенным видом соперника, крутанул его и шваркнул на ковёр от души. В результате у Кольки оказались вывихнуты сразу обе руки.

Позже, поняв, что имеет дело с дилетантом, самбист, извиняясь, укорил Кольку:

— Ты бы шепнул мне, что приёмами не владеешь, я бы аккуратненько тебя положил. А так — подумал, что ты и впрямь чемпион какой-то...

И ещё, коль речь зашла о спортсменах.

«Поднялся» как-то на Мелгору настоящий каратист — из тех, что кулаками доски ломают и кирпичи крушат. Он как-то удачно прошёл следственный изолятор и не понял вовремя, куда попал. Принялся с «карантина» демонстрировать свои боевые навыки, заявив во всеуслышание, что в зоне он любого «уроет», и что на авторитеты ему плевать. Такая наглость по «понятиям» не прощается. Однажды ночью, дождавшись, когда каратист уснул, зеки навалились гурьбой, придавили ему шею полотенцем, и засунули в задний проход ферзя — в просторечии «королеву». А «петуху», как известно, уже никакие кулаки не помогут...

В конечном итоге, профессионализм тюремщика состоит вовсе не в том, чтобы метко стрелять или кирпичи кулаками крошить. Применение физической силы против осуждённого — ситуация хотя и вполне реальная, но всё-таки достаточно редкая. Ибо настоящий тюремщик просто не допустит ситуации, чтобы заключённый вышел из повиновения до такой степени, когда требуется лупить его палкой и руки крутить.

Вот почему колонийские офицеры с таким пренебрежением относились ко всяческим военным атрибутам — умению маршировать строем, стрелять метко, подтягиваться на перекладине. Главным во все времена для них оставалось выйти победителем в психологическом поединке с зеком, морально возвыситься над ним, суметь, не прибегая к угрозам и насилию, заставить выполнять все законные требования.

Тот же горе-самбист Мамбетов прекрасно справлялся с отрядом, в котором насчитывались две сотни заключённых.

Я часто задумывался: почему полторы, а то и две, три тысячи

опаснейших преступников, в общем-то, довольно смирно сидят, «тянут срок» в ограниченном колонийским забором пространстве? Ведь, по большому счёту, не четыре автоматчика на вышках по углам периметра удерживают их от попыток вырваться на свободу! Такая орава вмиг смела бы все режимные заграждения, и никакие жидкие автоматные очереди толпу бы не остановили. Однако даже в ходе многочисленных бунтов, сотрясавших исправительно-трудовые колонии в конце восьмидесятых годов, зеки чаще всего ограничивались тем, что крушили и жгли всё внутри зоны, не стремясь особо на волю.

Связано это, скорее всего, с тем, что при всей внешней браваде, отрицании законов, в глубине души каждый из преступников осознаёт вину и считает справедливой свою изоляцию от общества.

Вот здесь-то и кроется преимущество сотрудников колонии. Если тюремщик честно, добросовестно исполняет свой долг — заключённый в конце концов всегда окажется в моральном проигрыше.

Будучи в большинстве своём людьми нечестными, совершившими в прошлом самые дикие и мерзкие преступления, зеки особенно пристально и щепетильно следят за тем, чтобы сотрудники ИТК оставались непогрешимыми. Вот почему офицер с незапятнанной репутацией, даже предъявляющий жёсткие требования, всегда пользуется уважением в зоне. А соблазнившийся на подачки крохобор, взяточник, вступивший с заключёнными или их родственниками в «незаконную связь», особенно презираем и ненавидим зеками. Ибо тем самым такой сотрудник как бы встаёт в один ряд с ними, совершает преступление, оказываясь по «их сторону баррикад». И, по сути, тоже должен содержаться за решёткой. А он командует, чего-то требует...

Тем не менее, осуждённые активно ищут таких сотрудников, подкупают, вербуют, что, кроме прочего, даёт им право тешить себя мыслями: «Все люди сволочи! И мы, преступники, не хуже других...»

Чтобы понять всё это, тюремщику требуется многолетний опыт. Наверное, поэтому старые колонийские офицеры даже внешне чем-то неуловимо похожи друг на друга. Да и бывшие зеки, встречаясь с ними на воле, несмотря на схожее обмундирование, никогда не спутают тюремщика с другими «силовиками».

Помню, как-то в командировке в Москве шёл по многолюдной столичной улице. Вдруг откуда-то чуть ли не с объятьями на меня кинулся незнакомый мужик. Безошибочно «вычислив» зоновского офицера, он обратился ко мне, как к родному:

— Командир! Слушай, я три дня как «откинулся». Хожу по столице как дурак — кентов не осталось. Давай хоть с тобой

посидим, выпьем, за жизнь потолкуем... Я угощаю!

Такой вот принцип единства и борьбы противоположностей...

17

Ещё о взаимоотношении сотрудников правоохранительных органов и, так сказать, представителей криминального мира. Первые впечатления о зоне, заключённых относятся к столь раннему периоду моего детства, что от них у меня остались лишь очень короткие, в несколько секунд, отблески воспоминаний.

Вот история, которая случилась, когда мне и пяти лет от роду не исполнилось, а стало быть, не позднее 1960 года.

Отец мой тогда служил в исправительно-трудовой колонии, именуемой окрестными жителями по старой традиции «лагерем». Колония стояла на самой окраине города, и дощатый забор с рядами колючей проволоки по верхнему краю, вышками часовых по углам периметра, «запретной зоной» со свежевспаханной «следовой полосой» тянулся далеко в степь.

Штаб этого учреждения располагался за пределами зоны, на втором этаже оштукатуренного и выбеленного мелом щитового дома, а на первом, в тесной квартирёшке, ютилась наша семья.

В нынешние либеральные времена такое, наверное, даже в голову никому не придёт, но в ту пору штаб со всеми таящимися в сейфах по кабинетам служебными секретами, материальными ценностями, а может быть, и оружием доверяли охранять расконвоированным заключённым.

В год, о котором я рассказываю, сторожем при штабе состоял высокий, крепкий, а мне, малышу, и вовсе казавшийся великаном зек, которого мы, ребятня, звали дядей Андреем.

На досуге он любил возиться с нами, жившими по соседству, мальчишками. Мастерил нам «самокаты», колёсами для которых служили подшипники, занятные игрушки из чурочек и фанеры, в том числе и категорически запрещённые рогатки, но какой же уважающий себя окраинный пацан в ту пору мог обойтись без рогатки! Из них мы пуляли голышами по птицам, что, конечно же, нас не красит, а извиняет лишь то, что ни я, ни кто-либо из моих знакомых мальчишек, насколько мне помнится, в птицу камнем так ни разу и не попали.

Осталось в памяти, как какой-то военный, скорее всего из конвойной роты, однажды отчитал при мне мою маму.

— Как вы можете позволять ребёнку общаться с зеком! Он же за убийство сидит!

На убийцу дядя Андрей совсем не походил. Мама моя, судя по всему, не вняла предупреждению тюремщика. Так что, общение моё и другой детворы с заключённым-сторожем,

обитавшим в сараюшке на задах штаба, продолжилось.

У отца был служебный мотоцикл «Урал», настоящий, военный, как утверждали старшие мальчишки, со знанием дела указывая на какую-то штуковину, приваренную спереди к люльке. На неё якобы в боевой обстановке крепился пулемёт. Мотоцикл, когда не требовался отцу, стоял на приколе здесь же, в тенёчке чахлой акации, возле здания штаба.

Однажды летним днём, носясь со сверстниками во дворе, я споткнулся и упал на доску с торчащим из неё ржавым гвоздём. Огромным, сантиметров пятнадцать, не меньше. Со всего маху я насадился на него животом, как жук на булавку. При тогдашней моей тщедушности он должен был проткнуть меня почти насквозь!

От ужаса я даже не плакал, а лишь подвывал, потихоньку поднимаясь и снимая себя с гвоздя. Никто из взрослых не видел этого. Кроме сторожа-заключённого дяди Андрея.

Не мешкая, он завёл отцовский мотоцикл, подхватил меня, усадил в люльку и помчался в близлежащую больницу.

Не помню, как отреагировали тамошние доктора, увидев зека в чёрной робе с биркой на груди, доставившего малыша с колотой раной. Возможно, о чём-то моего спасителя и расспрашивали, но в моей памяти остался только длинный никелированный, и, отчего-то казалось мне, очень холодный зонд, который врач вводил в рану, чтобы исследовать мои внутренности.

Оказалось, что громадный гвоздь непостижимо-чудесным образом ничего серьёзного мне там, в животе, не повредил, скользнув мимо жизненно важных органов. И через пару часов меня отпустили, щедро намазав ранку зелёнкой и вкатив пару болючих уколов — от столбняка.

Тем временем день скатился к вечеру, бесконвойника-сторожа в штабе хватились, начался переполох. Это же представить только: исчезли пятилетний ребёнок — сын сотрудника, мотоцикл и зек, осуждённый за убийство!

Сегодня в такой ситуации наверняка бы подняли на ноги всю полицию, ОМОН, привлекли к розыскам разных там волонтёров-общественников, а тогда не шумели особо. Да и с возвращением дяди Андрея всё как-то разрешилось само собой, без особых последствий для заключённого. Его не то чтобы поблагодарили, а не наказали никак за самовольную отлучку. И на том, как говорится, спасибо.

Через несколько лет, отбыв срок, дядя Андрей остался работать в колонии вольнонаёмным сотрудником, заведовал гаражом. Мы изредка встречались, здоровались. Я узнал, что Андрей Ильич Пугаченко в прошлом был фронтовиком, офицером. Одевался он всегда в одно и то же: полушерстяную, затянутую

коричневой портупеей гимнастёрку защитного цвета без погон, брюки-галифе, надраенные до антрацитного блеска хромовые сапоги. На голове носил полевую фуражку без кокарды. Так щеголяли тогда многие отставники, а фронтовиками в 60-е годы были практически все мужики, кому перевалило за сорок.

Наша семья переехала из квартирки при штабе, само здание штаба в 70-е годы снесли, и я много лет не встречал Андрея Ильича.

Впечатления детства оказались сильны, и после окончания медицинского института, в 80-х годах, я стал работать доктором в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. Располагалась она в Акбулакском районе Оренбургской области, в глухой степи, почти на границе с Казахстаном. Народ в окрестных сёлах здесь обитал разный. С дореволюционных времён ещё было много переселенцев с Украины, Молдавии. Были казахские и немецкие сёла.

Как-то в разговоре с сослуживцем я припомнил случай с дядей Андреем.

— Так Пугаченко же наш, акбулакский! — воскликнул мой собеседник. — Боевой лётчик, майор, орденоносец. Когда его в начале 50-х годов осудили, народ возмущался: ни за что дали срок мужику!

И рассказал мне, как угодил в тюрьму бывший майор.

Здесь надо уточнить, что Андрей Ильич был человеком большой физической силы. Говорили, что он уже в зрелом возрасте трактор «Беларусь» за передок поднимал. А известным на весь район он стал после того, как во время войны прилетел на побывку в родную деревню на своём боевом самолёте. С бочкой спирта, привязанной к шасси. Тогда в голодный военный год всем миром вволю гульнули, отведав угощение фронтовика. Такое не забывается.

После демобилизации жизнь отставного майора наладилась. Бывший лётчик работал главным механиком в МТС, пользовался уважением начальства и подчинённых. Но всё перечеркнула трагическая случайность.

В выходной день на рынке райцентра, куда Андрей Ильич отправился с женой за покупками, к нему привязался местный пьянчуга. Оскорбил жену, полез драться. Пугаченко и приложил его в сердцах пудовым кулачищем. Да силы не рассчитал — зашиб до смерти. Произошло это на глазах многих свидетелей, и они в один голос оправдывали бывшего лётчика. Но его судили за убийство, дали десять лет.

Надо заметить, что в те годы власти с фронтовиками особо не церемонились. Мой отец, в 60-е годы занимавший должность начальника исправительно-трудовой колонии строгого режима, обмолвился как-то, что почти все содержащиеся там зеки в возрасте

старше сорока лет были участниками Великой Отечественной войны.

Впрочем, в колонии быстро определили, что Пугаченко за человек. Кого попало, на бесконвойку не выпускали, штаб сторожить не доверили бы...

В последний раз я повстречал Андрея Ильича на железнодорожном вокзале Оренбурга. Было это уже в разгар «перестройки», в конце 80-х годов, накануне 9 Мая. Пугаченко и в восемьдесят лет производил впечатление могучего, сильного человека, только на трость опирался.

— В Москву еду, — не без гордости объяснил он. — Мне же звание и награды восстановили, но долго документы найти не могли. Они в архиве КГБ отыскались.

— Почему? — удивился я, — вы же боевым лётчиком были, а причём госбезопасность?

— Да потому, что я в личной эскадрилье Сталина служил. Мы его в воздухе на истребителях прикрывали. И наши личные дела по ведомству НКВД проходили. Потом в КГБ оказались. Теперь вот на Парад Победы пригласили. В первый раз за все годы...

До сих пор кляну себя, что не переговорил с Андреем Ильичём, открывшимся вдруг мне совсем с другой стороны, подробнее. Торопился — влекли какие-то дела, казавшиеся чрезвычайно важными тогда, а на самом деле настолько пустыми, что и не вспомню о них теперь. И упустил, как водится, главное. А вот прощальное рукопожатие старика, как стальными тисками сжавшего мою руку в своей огромной, не потерявшей силы лапище, до сих пор помню. Таким и остался он в моей памяти — высокий, широкоплечий, в военной гимнастёрке, перетянутой портупеей, с частоколом орденских планок на мощной груди. Настоящий сталинский сокол!

18

Между прочим, я всегда ходил в форме, даже в тяжёлые, «перестроечные» годы не прятался, как другие тюремщики, переодевавшиеся после службы «в гражданку». Может, это у меня от отца. Но, подозреваю, он постоянно щеголял в форменной одежде — зелёной рубашке, такого же цвета кителе и синих брюках — от бедности. У него был один костюм. У меня их было уже три или четыре, но форму свою я любил. Народ в массе своей принимал нас, работников ИТУ, за военных. Даже патрули в Москве не знали, кто мы. Помню, меня остановил такой. Долго крутил удостоверение сотрудника МВД.

— А где военный билет?

— Дома.

— Почему?

— По военному билету я гвардии старший лейтенант медицинской службы, а в МВД — целый майор внутренней службы!

Но зеки нас распознавали безошибочно.

Когда в восьмидесятые годы царил «сухой закон», за водкой в Оренбурге выстраивались огромные очереди. Так вот, будучи «в форме», в них я ни разу не стоял. Обязательно находился какой-нибудь «блатной», который требовал «пропустить командира».

Однажды в райцентре на автовокзале меня чуть не зарезали.

Был зимний вечер, темнело. Стою себе, ожидая рейсового автобуса, покуриваю. И вдруг на меня прёт мужик с ножом! Я как-то не очень удачно нож у него выбил, но он мне полпальца чуть не срезал. Шваркнул я мужика на снег, врезал пару раз под дых яловым сапогом. И тут он из-под шубы увидел зелёное галифе! И стал извиняться: «Командир, прости, я тебя с вольным ментом спутал!»

— А что, вольного мента валить можно?

— Да достали, падлы… Прости…

— Ты мне, сука, полпальца отрезал!

— Щас, братан, пока лабаз открыт, водки куплю, промоем…

Промыли.

Однажды на Мелгоре шёл после службы, уставший, домой. Вдруг из кустов метнулась ко мне цыганка.

— Гражданин начальник! Помоги! Надо сына в Куйбышев, на больничку отправить… Вот, возьми…

И суёт мне платочек с пригоршней золота — там кольца, серьги, ещё какие-то цацки, грамм двести, а может, и поболее.

Честно, у меня и мысли не мелькнуло всё это взять. Я даже не обиделся. Сказал: «Спрячь, мамаша. Я твоего сына (не помню фамилию, что-то молдавское) и так в Куйбышев отправлю. Ему по показаниям положено…

Может, за это нас, советских ментов, и блатные уважали? Ещё в середине девяностых я мог в форме подойти в ресторане к раскипешившимся блатным и успокоить. А то и прогнать. И они меня слушались. А сейчас бы зарезали…

За таким отношением — десятилетия уважения к «органам».

Кто-то скажет, что здесь первичен страх перед «карающим мечом» государства. Возможно. Но и чисто человеческое уважение со стороны «блатных» к нам, «ментам», по большому счёту, тоже присутствовало.

Для иллюстрации — маленький эпизод.

В начале 90-х годов мне, уже в бытность сотрудником пресс-службы УВД, дали адрес милиционера-фронтовика, награждённого за боевые заслуги орденом Красной Звезды. И поручили написать о нём статью в областную газету к 9 Мая.

Звали фронтовика Миша. Татарин преклонных лет. Жили они с женой тётей Розой в двухэтажке на Аренде, старом районе Оренбурга, немыслимой степени изношенности. Дом — не

дом, барак — не барак. И туалет на улице.

Дядя Миша охотно рассказывал мне про войну. Он был кавалеристом и больше вспоминал своего коня Васю, чем бои. Например, Вася страшно боялся бомбёжек и артобстрелов. И при шелесте подлетающего снаряда прятался в любом близлежащем окопе.

— Артобстрел начинается, я в окопчик, и Вася за мной! — рассказывал дядя Миша. — А окопчик — два метра длиной. На меня сверху туша в полтонны. Я кричу: Вася, ты ж меня раздавишь! А он, зараза, втиснется в окоп, и ещё голову пригнёт… Но в атаку, на пулемёты, скакал смело…

О бое, за который ему дали орден, дядя Миша рассказывал походя: атаковали кавалеристы высотку, немцы их из пулемёта косили. Командир заприметил в полукилометре домик и послал туда молодого расторопного татарчонка Мишу. Бегом, в обход, в снегу по пояс, Миша обежал, влез на чердак, перед ним немецкие окопы — как на ладони.

— Два диска из ППШ выпустил, всех уложил, — вспоминает дядя Миша. — Ну, тут наши и пошли…

Но мне отчего-то запомнился из его рассказа и другой эпизод.

Начало 60-х годов. Горисполком Оренбурга запретил рыбачить на удочки с моста через Урал на Беловке.

— Иду, — бесхитростно повествует дядя Миша, служивший тогда постовым, — а там два полковника стоят. В милицейской форме. И рыбачат. Я к ним подхожу и говорю: нарушаете! Они мне: старшина, свободен… Как так?! Я удочки у них из рук выхватил, об колено сломал, на мост бросил. Они мне: в управлении встретимся!

— И что? — замираю от интереса я.

— А ничего. Комиссар (генерал, по-нынешнему) поругал. А потом вывел из кабинета и за дверью сказал: «Молодец! Правильно сделал! Постовой — и для генералов начальник! А для полковников — тем более!»

Сегодня, подозреваю, дядю Мишу за это бы в порошок родное ведомство стёрло.

Но я вернусь к тому, с чего начал. Побеседовав, старый милиционер, покосясь на жену, предложил: «А что, сынок, может, по стаканчику? Ради встречи… Я место одно знаю — тут рядом…»

— И не вздумай! — орлицей налетела тётя Роза. — И пожаловалась мне: — Уж как я с ним, сынок, намучилась! Бывало, напьётся до упаду, а шпана несёт его домой, пьяного-то, и мне передаёт. Не волнуйтесь, говорят, тётя Розочка, вот и фуражечка его, и пистолетик…

19

Однако вернёмся на Мелгору. Повседневную жизнь зоны

контролировали две службы — режимная и оперативная.

«Режимники» отвечали за охранные сооружения, изымали запрещённые к использованию заключёнными предметы, следили за соблюдением правил внутреннего распорядка, проводили досмотры и обыски.

Оперативники, которых с незапамятных времён звали «кумовьями», работали тоньше. В их главную задачу входило знать всё, что творилось в колонии и за её пределами, пресекать готовящиеся массовые беспорядки, предотвращать или раскрывать преступления, совершённые осуждёнными, перекрывать каналы проникновения в зону запрещённых предметов — оружия, водки, наркотиков. Они должны были «пасти» сотрудников, вступивших в незаконную связь с заключёнными или их родственниками. Чтобы обладать информацией об этом, «кумовьям» приходилось вербовать агентуру не только среди зеков, но и сотрудников, жителей посёлка. За это их не любили. Ибо редко какой прапорщик не нырял на подхоз за комбикормом для скотины на своём подворье, а местные жители не брезговали при случае возможностью стянуть что-нибудь из колонийских запасов на складах для собственных нужд.

Вот типичная для Мелгоры ситуация. На складе работали вольнонаёмные бабёнки из местных. Одна приворовывала, другая — нет. Нечистая на руку опасалась, что честная в конце концов разоблачит воровство, и решила избавиться от неё с помощью оперчасти. Заметив, что сарай возле дома простушки не заперт, вороватая складская бабёнка налила ведро краски и велела зеку-бесконвойнику отнести и поставить ведро в сарай. Тот указание исполнил. После чего вороватая баба позвонила в оперчасть и сообщила, что её напарница совершила кражу государственного имущества. Похищенное хранится в сарае преступницы.

Прибежали оперативники, обнаружили злосчастную краску, составили протокол. В результате ни в чём не повинную жертву интриги вышибли с работы с формулировкой «за утрату доверия». А она, плача, чуть позже поведала мне эту историю.

В такие игры оказывалась втянутой даже местная детвора. Нередко пацаны сообщали в оперчасть важные сведения. Однажды, проследив за приезжими на свидание, они обнаружили припрятанный в разваленном сараюшке склад наркотиков — несколько упаковок ампул морфия, предназначенных для передачи в зону.

В то же время справедливо считается, что заключённый всегда способен в конечном итоге перехитрить тюремщика. Потому что думает об этом круглые сутки на протяжении многих лет, а тюремщик — только в служебные часы.

И действительно, возможности осуждённых в различных ухищрениях кажутся беспредельными. Во время проведения обысков добычей режимников становились вещи самые неожиданные: электрические самогонные аппараты, радиоприёмники (запрещённые в местах лишения свободы), подслушивающие устройства.

Помню, меня всегда удивляла информированность зеков о жизни посёлка, сотрудников. Они прекрасно знали, кто в каком доме живёт, с кем дружит. Как проводит досуг, кто из офицеров и у кого побывал накануне в гостях и «болеет после вчерашнего»...

Оказывается, заключённые часами наблюдали за жизнью приколонийского посёлка в самодельные подзорные трубы, которые мастерили из линз «плюсовых» очков и скрученного в трубочку картона.

Нередко режимники изымали у зеков... рогатки. Из этого нехитрого детского метательного оружия осуждённый мог извлечь немалую пользу. При посредстве рогатки можно было легко запулить на волю через колонийский забор «маляву» — записку с вложенным внутрь камушком. А можно было методическим обстрелом довести до исступления часового на вышке, проявившего принципиальность и отказавшегося вступать с заключёнными в незаконную связь.

Даже зажигалка в умелых руках превращалась в мину замедленного действия. Например, если пристроить её, горящую, под бензобак заехавшего в зону по какой-то хозяйственной надобности автомобиля...

Из куска провода и двух ржавых металлических пластин изготовлялся кипятильник, которым можно было даже в ШИЗО «поднять», «запарить» кружечку чая. А можно было просто, добравшись до электролампочки в камере, подсоединить провода к замку двери. И с замиранием сердца ждать, когда прапорщик-контролёр коснётся его железным ключом...

Из вполне доступных в зоне продуктов питания квасили брагу к празднику. Делалось это так: в полиэтиленовый пакет засыпается сахар (закладывали и конфеты, если сахара не хватало), добавлялся хлеб для закваски, вода. Пакет завязывался так, чтобы оставалось место для брожения, газа. Пакет засовывался, например, в валенок, и пристраивался где-нибудь на тёплой батарее в сушилке.

На производственных объектах брагу заквашивали в пустых кислородных баллонах, которые используются при газосварке. Валяется такой «снаряжённый» водой и сахаром баллон у всех на виду, на солнцепёке. Подходи и цеди в кружечку хмельной пенистый напиток!

Из пустого стержня для шариковой авторучки получается

шприц, которым удобно вколоть себе дозу наркотика...

Вообще, зоновская голь на выдумку хитра.

Например, нанесение татуировок в те годы было строжайше запрещено. Более того, существовал приказ о принудительном удалении татуировок, носящих нецензурный или антисоветский характер. Естественно, что и приспособления для создания картинок на коже беспощадно изымались при обысках. Но всё было напрасно. Заключённые продолжали расписывать свои тела, обходясь подручными средствами.

Краска для татуировки делалась так: сжигался кусок резины (например, каблук от ботинка), сажу разводили мочой, и вкалывали полученный раствор в кожу, используя вместо иглы тонкую проволоку или гитарную струну.

Режимники и оперативники вели постоянную войну с проникновением в зону водки, наркотиков, сильнодействующих лекарственных средств («колёс»). Всё это частью изымалось при обысках и досмотрах посылок, передач, во время свиданий с родственниками, но кое-что всё-таки проносилось, попадало в зону.

Однажды ДПНК обратил внимание на то, что тракторист-бесконвойник везёт зачем-то в тележке в зону старую ржавую батарею центрального отопления. При тщательном осмотре оказалась, что она до краёв залита... водкой.

Частенько заключённым с воли перепадали сильнодействующие таблетки — снотворные препараты, транквилизаторы. Таблетки прятали внутри конфет, запекали в печенье... При этом никаких инструкций по применению, естественно, не прилагалось. Чтобы выяснить их эффект и подобрать оптимальную для «кайфа» дозу, часть таблеток скармливали какому-нибудь «чёрту». И наблюдали. Если тот валился с ног и попадал в санчасть с отравлением, дозу для собственного употребления уменьшали.

В годы «сухого закона» у режимников и оперов к чисто служебному рвению по изъятию спиртного появлялся дополнительный стимул. Обнаруженные водка, самогон подлежали уничтожению. Происходило это примерно так.

Вечером, перед сменой дежурного караула поднимаюсь на вахту. В помещении ДПНК за обшарпанным канцелярским столом в глубокой задумчивости сидят начальник режимной части майор Прокофьев и оперуполномоченный капитан Цыганов. Перед ними стоит пузатый графин, доверху наполненный мутноватой жидкостью.

— А-а, доктор! — радостно приветствует меня Прокофьев. — Ну-ка, определи, водка это или нет? Зашмонали в третьем отряде грелку, перелили, да вот не поймём что-то... Мутная какая-то...

— Да говорю тебе, это от талька! — успокаивает его Цыганов. —

Грелка-то была — новьё. В неё, пустую, внутрь на заводе тальк засыпают, чтобы резина при хранении не слипалась.

Прокофьев щедро наливает жидкость в гранёный стакан, протягивает мне.

Я беру, осторожно нюхаю.

— Похоже на разбавленный спирт.

— Да ты глотни, — вкрадчиво предлагает Цыганов.

— Ага, разбежался, — скептически хмыкаю я. — Сам глотай! — и ставлю на стол стакан.

Выход находит истомившийся от жажды Прокофьев.

— Шарик! — озарённо кричит он в сторону комнаты контролёров. — Иди сюда!

Шарик — пожилой уже, проспиртованный от постоянного пьянства прапорщик, торопливо вбегает.

— Вызывали, товарищ майор?

— У меня сегодня день рожденья, — грустно сообщает ему Прокофьев. — Приходится на службе отмечать. Вот, тяпни за моё здоровье!

Шарик берёт стакан, одним махом опрокидывает в глотку, крякает удовлетворённо.

— Ну как? — с надеждой в голосе интересуется «именинник». — Хорошо пошла?

— Годится! — отвечает Шарик, занюхивая рукавом порыжевшей от времени шинелёшки.

— Давай ещё стопочку! — предлагает коварный майор и наливает треть стакана испытуемой жидкости.

Прапорщик выпивает уже не торопясь, с удовольствием. Слегка морщится, закуривает.

Минут пятнадцать все пристально наблюдают за Шариком. Тот розовеет лицом, пьяно покачивается.

— Ну ладно. Иди, служи, — спроваживает его майор Прокофьев.

После чего наливает себе, с наслаждением выпивает полный стакан.

А вот Цыганову не везёт. Едва он успевает поднести наполненный «с бугорком» стакан к губам, как в дежурку вваливается «хозяин» зоны подполковник Медведь.

Капитану не остаётся ничего другого, как на глазах у начальства медленно, будто воду, выцедить спирт. После чего Цыганов отворачивается к окну и начинает кривиться от омерзения, борясь с подкатившейся тошнотой.

Не замечающий его гримас Медведь слушает доклад ДПНК об оперативной обстановке в зоне, подписывает постановления о водворении в ШИЗО отказчиков от работы.

Справившись со спиртом, Цыганов закуривает, оборачивает к нам пошедшую красными пятнами физиономию.

— Ну, я пошёл, — прощается наконец Медведь. — Смотрите, чтоб тут нормально всё было.

И, уже в дверях, оборачивается:

— Цыганов!

— Я!

— Отнеси-ка этот графин ко мне в кабинет...

20

В три часа ночи меня вызвали из дома в жилзону. За много лет привыкнув к таким внезапным подъёмам, я безропотно покинул тёплую постель. Звонил ДПНК Батов.

— Слушай, дарагой! Извини, пажалуста, что беспокою. Тут один абориген руку сломал. Сидит, воет...

— Сейчас приду.

В прихожей, стараясь не шуметь, оделся, натянул хромовые сапоги, тяжёлую, не просохшую ещё после вчерашнего дождя шинель. И вышел в ночную тьму.

Стояла поздняя осень. Ноябрьский, снеговой уже ветер гудел где-то в вышине, в затянутом тучами беззвёздном небе, срывал с чёрных, продрогших тополей последние листья. Посёлок спал. Одинокий фонарь на столбе у подъезда нашего двухэтажного дома ржаво скрипел, раскачиваясь под порывами ветра, бросая тусклые отблески на подёрнутую корочкой льда особо жирную, невероятно липкую мелгоровскую грязь. А дальше, во тьме, угадывалась приморожeнная, за много лет хоженая-перехоженая тропинка в зону.

И только на склоне Мелгоры сияла по периметру забора ожерельем огней степная колония.

На вахте меня встретил капитан Батов.

— Пайдём в ШИЗО, пасмотрим на балного, — предложил он, потирая красные от недосыпа глаза.

В ШИЗО дежурный прапорщик вывел из камеры охающего, баюкающего бережно правую руку зека лет тридцати.

Осмотрел бегло. Похоже на вывих плечевого сустава. Вправить — пара пустяков, но надо сперва, чтобы исключить перелом, сделать рентгеновский снимок.

— Сам или помогли? — поинтересовался я.

— Сам, — постанывая, объяснил страдалец.

— Заберу в санчасть, — сообщил я Батову. — Подлечим, ничего страшного. Жить будет.

— Забирай! — великодушно согласился ДПНК и предупредил зека: — Смотри у меня, казол! Из больнички ни шагу. Выйдешь за территорию санчасти, побежишь в отряд к кентам — я тебя в крякушник опять загоню!

Зона ещё спала, только в столовой светились окна, а из широко распахнутых дверей валил пар — готовили завтрак.

Зек плёлся рядом, поддерживая руку и бормоча:

— Я, гражданин доктор, в натуре, сам с нар навернулся. Спал и шмякнулся на цементный пол. Ну как дитя! И аккурат плечом угодил!

— Да мне-то какая разница, — отмахиваюсь я. — Пусть «кумовья»

разбираются, кто и за что тебе руку выкрутил...

Через час, вправив вывих, наложив гипсовую лангету и поручив сонным дневальным пристроить травмированного зека в стационаре медчасти, я вернулся на вахту.

— Ну как? Всё ништяк? — поинтересовался Батов.

— Нормально. Закуривай, — протянул я ему пачку «Примы».

— Эх, ещё неделя — и в отпуск, — попыхивая дымком, сообщил Батов.

В отпуск он уходил неизменно зимой, так и не привыкнув к нашим морозам и пытаясь сократить таким образом для себя длинную уральскую зиму.

— На Кавказ поеду. Там тепло-о... Атэц ждёт, мать, братья... У меня шэсть братьев, понимаешь? Все люди как люди. Шофёр. Инженер, учитель... Адын я — туремщик!

Вяло, чтоб поддержать разговор, интересуюсь:

— А что ж на родину не переведёшься? Что у вас там, в тёплых краях, зон нету? Или вы всех преступников к нам, в Россию, чтоб за решёткой жизнь мёдом не казалась, сплавляете?

— Да есть на Кавказе турмы. Дэнги нада!

— Какие деньги?

— Болшие. Ну, взятка. Нада взятка в рэспубликанский эмвэдэ давать. Дэсять тысяч!

— Ни фига себе! — удивился я. — Где ж их взять-то?

— У нас на Кавказе все взятки берут. Не понимают, что в России честно служат! Говорят: зачем в русской турма работаешь, если дэнга нэт? В нашей тыща рублей в месяц от зэка иметь будешь!

— Это за что же?

— Ну... у нас, у них, то есть, свиданка — зэк сто рублей начальнику отряда платит. Посылка там. Ещё чего — всё за дэнги. Нэ-эт, я так не могу. Что бы подлый зэк меня покупал?! Привык в России. Тут харашо, чэстно! Атэц говорит: служи с русскими, сынок. Чэловеком будешь! Он у меня тоже честный. Адевается так: гимнастёрка, сапоги хромовые, фуражка полевая, портупея. Я ему свою форму в каждый отпуск привожу. Атэц у меня седой, с усами. Красивый, как Сталин!

В дежурку вошёл старый прапорщик, прозванный за высокий рост Полтора Ивана. Он уже с полгода собирается на пенсию по выслуге лет и таскает за голенищем ялового сапога затёртый номер журнала внутренних войск «На боевом посту». Ничего другого прапорщик отродясь не читал, а в этом номере была статья, разъясняющая порядок выхода на пенсию.

— Вы, доктор, человек грамотный, — обращается он ко мне. — Я что-то вот в этом месте не пойму насчёт льгот... — он суёт мне журнал, тычет пальцем в замызганную страницу. — И чо пишут, чо пишут? Ни хрена не поймёшь. Написали бы прямо: корма для

скотины будет мне, как отставнику, колхоз выделять бесплатно или нет?

Насчёт кормов для скотины пенсионеров МВД в статье действительно — ни слова. Я развожу руками.

— Козлы! — ругает авторов столичного журнала прапорщик, и все в дежурке охотно с ним соглашаются.

— А-а-а!!! — оживает вдруг радиоприёмник на стене, изливая из себя звуки гимна.

Шесть часов утра.

— Вот ведь работа у людей, — сочувственно качает головой Полтора Ивана. — Только шесть утра, а они уже поют! Это ж, во сколько им на работу вставать приходится?

— Кому? — не понял я.

— Да певцам этим...

— Да нэ встают ани! — объясняет Батов. — Эта магнитофон. Пэсня на нём записана. И когда нада — врубают!

— Не-е... Я по телевизору видел, — настаивает на своём Полтора Ивана. — Перед ними вот такая штука стоит, — он изобразил руками что-то круглое, — микрофон называется. И хор орёт в него. А по проводам везде слышно!

— Господи... — бормочу я, сражённый железной логикой прапорщика и ухожу, попрощавшись.

Шагнув за освещённый пятачок возле вахты, проваливаюсь в темноту холодного предзимнего утра. Вместе с ветром вдруг налетел снег, повалил крупными хлопьями, всё гуще, сильнее. Скрывая за белой пеленой колонийский забор, сторожевые вышки, фонари, сделал невидимой Мелгору и безмолвный посёлок.

Я шёл по едва угадывающейся тропинке и странно было представлять, что где-то там, в сотнях километрах от этой круговерти, есть большие сияющие города, в которых даже такой вот снег идёт не слепящей воющей стеной, а кружится медленно, расцвеченный огнями рекламы и светофоров, падает плавно и торжественно-радостно. И живут в этих городах люди, которые не знают ничего и слышать не хотят ни о каких зонах, тюрьмах, зеках и часовых...

А ветер всё свистел, нёс волнами снега, засыпая колонию, посёлок, будто пытаясь сравнять их с окрестной степью, чтобы не осталось даже следа от Мелгоры и её обитателей...